Глеб Иванович Успенский

Заячья совесть



Глеб Иванович Успенский Заячья совесть

Серия «Очерки переходного времени», книга 5

Текст предоставлен правообладателем. http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=666145

Аннотация

«...Однажды на письменном столе в моей деревенской рабочей комнате нашел большой, неуклюжий конверт, Я запечатанный И закапанный сургучом; И несмотря многосложнейший адрес, занимавший всю свободную от сургуча сторону конверта, я только с большими усилиями мог догадаться, что конверт адресован действительно мне, а не кому-нибудь другому. Распечатал я этот конверт и нашел в нем следующее письмо, старинным почерком написанное на целом листе писчей бумаги...»

Содержание

1			
2			
3			
4			

Примечания

223637

Глеб Иванович Успенский Заячья совесть (Из разговоров с другим старым бурмистром)

1

Однажды на письменном столе в моей деревенской рабочей комнате я нашел большой, неуклюжий конверт, запечатанный и закапанный сургучом; и несмотря на многосложнейший адрес, занимавший всю свободную от сургуча сторону конверта, я только с большими усилиями мог догадаться, что конверт адресован действительно мне, а не кому-нибудь другому. Распечатал я этот конверт и нашел в нем следующее письмо, старинным почерком написанное на целом листе писчей бумаги:

«Вы много пишете и ищете ключа к щекотулке действительной жизни, желаете надавить пружину, чтобы обозначилось, в чем заключается будущее народа и в чем состоит действительное благо. Только щекотулка не поддается пытливости вашей!

... Может быть, вы, пишущие и обдумывающие, и есть

из тьмы большинства то же самое слышите вы глас, только это глас зла!.. ...Много я в жизни претерпел разных ролей и ничего не нашел; рад, что семейство не помрет с голоду, - но и на этот спокой я уже впоследствии только согласился, то есть со взглядами мыслящих в большинстве: «не та честь, которая честна, а та, которая в кармане видна». А в прежнее время я все смотрел на расхищение бога по своим карманам, смотрел болезненно и бессильно. Скорбела моя душа, и даже проект обнародовал о благе, надеялся на сильных, и славных, и именитых; только сильные эти думали о себе, а не о благе, и все разрушилось! А как все разрушилось, так и сильные стали рыться на пепелище, как после пожарища, ища золота или чего порядочного, и дорылись до моего проекта, да люди-то все тончайшие для своего только блага; для них, подобно Наполеону

¹ «Савле, Савле! Что мя гониши?» — Автор письма Сидор Коробков приводит цитату из книги «Деяния апостолов» (IX, 4). Савл — иудейское имя апостола Павла (христианская мифология). «Трудно тебе против у рожна прати» — наступать

Третьему, —

против рогатины, копья (Даль).

патриоты истинные, но наверное в числе меньшинства, за громадным большинством подавляющим. Вдревле бог поддержал Савла: «Савле, Савле! Что мя гониши? Трудно тебе противу рожна прати!» Следовательно, оказал поддержку: «Знаю, мол, что тебе трудно, однако – крепись!» А нониче

Хоть весь свет в огне гори, Лишь бы быть мне в Тюльери!

А ведь время идет, и прошло двадцать лет, и как я воротился в свою сторону и увидел: думали, что вечные столбы тысячелетия простоят, и никто насчет их пригодности не любопытствовал, и так, мол, прочны для здания, — и что же? Их уже червь подточил, тот самый червь, который на пепелище-то потом рылся, после разрушения-то и пожарища, червь-то, разрушитель всего, и подточил столбы вековые!

...Печатание же о крестьянском быту – все бесполезно; сколько ни пишите, бумага все терпит, а зло идет неустанно, оно не только что не лежит, но и не дремлет, и спать никогда не будет, и всех и вся гонит к розни!

Милостив господь – до время!
Терпит до последних дней!
О, несносно будет бремя
Избранных творцом людей!
Гнев господень возгорится,
Славу явит бог мирам!
На воздусях объявится
И рассудит по делам!
Своды неба потрясутся
От его движенья перст!
Все народы возмятутся
На пространстве многих верст!..»

Тотчас после стихов, без всяких дальнейших объяснений, следовали такие строки: «Ежели угодно меня видеть для беседы, то после осьмого часу, вечернего чаю, могу вас принять у себя; по преклонности моих лет и болезней, ни в ка-

ком случае прошу меня не требовать для объяснений». И, наконец, следовала подпись: «бывший доверенный графов Гусыниных, крестьянин – ской губернии Сидор Коробков».

Фамилия Коробковых стала известна мне с весьма недавнего времени; несколько месяцев тому назад принесли с почты вместе с письмами карточку-объявление на толстой бумаге о продаже керосина, такого содержания:

Главный и центральный агент высших нефтяных продуктов Н. Коробков получает керосин, масла, бензин, олеофин из первых рук. Экспорт бочками по востребованию. Париж, Лондон, Филадельфия. Высшие награды.

А вслед за этим объявлением, разосланным по всем селам, деревням и помещичьим домам в окрестности, на станции железной дороги стали появляться керосиновые вагоны-цистерны; «закипело» новое, небывалое керосиновое «дело», и закипело совсем на новый лад; прежде здесь шли только сенные дела, и шли, во-первых, на чистые деньги, – мужику

деньги сейчас нужны, – а во-вторых, шли так, как богу угод-

бургу угодно, так и шло, такие цены и брали. Совсем не так повел дело центральный агент, - широчайший кредит всем и каждому, конечно под расписку; никакого спора в ценах: «ниже всех» – вот цена, объявленная центральным агентом. И немедленно возникло новое, небывалое в наших местах явление - биржевая игра. У кулачишек, у мужичишек явилась жажда хватать бочки с керосином в долг и тут же перепродавать с барышом. Словом, дела действительно «заиграли», а вслед за тем пошли слухи: «прогорит», «беспременно прогорит», «лопнет». И в ту самую минуту, когда все думали, что «лопнет» и что агента поглотит вновь прибывший «жид», - повсюду разнеслась новая весть, и весть, правду сказать, до чрезвычайности радостная для всего кулацкого мира, именно весть о том, что центральный «надул жида!» «Надуть жида», то есть перехитрить самую филигранную работу плутовства, - это огромная заслуга и величайшее удовольствие для всех наших кулачишек, толкущихся около станции. И все это сделалось в самое короткое время, и сделал все это очень молоденький, вполне приличный мальчик, лет двадцати, которого я очень часто встречал на вокзале железной дороги. С самой милой улыбкой на молодом лице, с самыми вежливыми приемами обращения, в опрятно надетой шведской куртке, он был совершенно новым явлени-

но: сегодня «дают» семь копеек, а завтра двадцать семь, а послезавтра, глядишь, сено и «заиграло» до полтины, а потом опять спустилось до пятака. Словом, как богу и Петер-

но ново и возбуждало к молоденькой, веселой, ласковой и предупредительной фигурке центрального агента всеобщее ласковое внимание, особливо после того как он, не теряя ни ласковости, ни вежливости, сумел «надуть жида» и остался после этого тем, чем и был до сих пор.

Мужик, принесший письмо и заглянувший ко мне на другой день, чтобы спросить: «не будет ли какого ответа?»,

объяснил мне, что этот «центральный агент» есть самый младший сын того старика Коробкова, который прислал мне письмо; что другие дети его держат в разных селах лавки и трактиры, но что сам старик не мешается «в эти дела», так как деятельность центрального агента до того не по сердцу старика, что не раз он грозился «проклясть» сына, несмотря на то, что в Лондоне, Париже и Филадельфии дело его

ем среди первобытного кулачья, обиравшего народ «по сенной части»: и манера торговать, и манера надувать, и манера держать себя, и совершенно правильная речь, испещренная словами «экспорт», «коносамент», все это было чрезвычай-

получило высшую награду. Рассказал мне этот мужик, что старик – человек старого «завету», старого «лесу», твердый, кремневый, «упорный», что нониче таких мало стало, что, одним словом, башка на плечах у него здоровая. Была проведена параллель между нынешним шаромыжным направлением наживы, представителем которого был молодой Коробков, и старым образом жизни, образчиком которого наилучшим образом мог служить Коробков-старик, и все выго-

ды этой параллели, с крестьянской точки зрения, остались за стариной. Старик честен, внимателен к мужику, не только наживает, но и добро делает, помогает и т. д. Узнал я также, что старик держит, неподалеку от нашей станции, большую

мукомольную мельницу, где и живет почти безвыездно.

– Да уж верно, – говорил крестьянин, принесший письмольности таких почей но мочениему времени сорсем не ви-

— да уж верно, — говорил крестьянин, принесшии письмо, — что таких людей по нонешнему времени совсем не видать... Что ноньче? Хотя бы сына его, Николашку, взять, — какое подобие со стариком? Этому, Николашке-то, только

бы деньги наживать, только бы ассигнации в руки попадали, больше ему ничего не надо, «все, мол, купить можно!» – вот нонешняя манера. Ну, а по-стариковски-то не так, – не туда!

Деньги нужны всякому, и старому деньги нужны, только совесть-то ему дороже денег. Возьмет и он деньги, только чтоб совесть не повредить, с сердцем своим посоветуется; вот в чем главное-то дело! Ему бы на своем веку-то как можно было хватать? Полный доверенный по всем статьям, во всех угодьях, – господа эво где, за тридесять земель, – загребай в

лапы все-всякое! Да совесть в нем человечья была, вот в чем расчет-то! Конечно, что польза ему была, говорить нечего,

но чтобы правду забыть, чтобы, например, бога без внимания оставить, вот уж этого нет! А нонешний уж давно бы и господ и мужиков «под одно» объегорил, да в пиньжак бы вскользнул из полушубка-то, да с цыгарой в зубах в первом классе и укатил бы с курьерским в Петербург; а насчет того, что целую тьму народу на своей наживе потоптал, это ему

эт! Не такой породы! Еще долго посланный стариком мужик расхваливал и на всевозможные лады, как говорится, расписывал «редкостного по нонешним временам старца», – но не знаю, удалось

горя мало! Есть об чем беспокоиться!.. Ну, а старик-то не-

ли бы ему этими похвалами настолько соблазнить меня, чтобы я возымел желание завязать личное знакомство со стариком Коробковым. Немало уж на своем веку видал я этих «упорных», «твердых» и разных иных наименований стари-

ков, обыкновенно весьма неумеренно расхваливаемых либо стариками же, либо людьми, приближающимися к старости и выставляющими расхваливаемых ими людей как таких, каких теперь и в помине нет. «Теперь таких людей нету! Где!»

Выходило даже так, что умри, например, Кузьма Иванович, старик из числа таких, каких теперича нет нигде, – так даже жутко становилось за будущее: «как же это мы все-то, всято Россия, жить будем, ежели Кузьма-то Иванович, сохрани бог, умрет?» Но, к сожалению, при более близком личном знакомстве с этими упорными и твердыми стариками, с людьми, «каких мало», – оказывалось, что крепостной опыт этих стариков неширок, невелик по размерам потребностей, которым опыт этот умел отвечать и которые теперь неизме-

римо сложнее, шире и многозначительнее. Еще так ли, сяк ли «упорный» старик сумеет начертать довольно яркую картину современной деревенской неурядицы, но чтобы исцеляющим все недуги средством он не почитал прежде всетельном тумаке, любвеобильной палке, - этого ни один из «упорных» старцев никоим образом не мог избежать в своих прожектах о том, что надо было бы делать теперь, и выше этого религиозно-любезного кулака никоим образом не мог подняться в своих мечтаниях. Признаюсь, даже и надоели мне эти почтенные люди; конечно, жалко смотреть на человека, который совершенно искренно возмущен непорядками, и нельзя не разделять его огорчения; но один уж язык, которым говорят огорченные старики, положительно иной раз измучивает до последней степени: легко ли дело толковать о тысяче таких вопросов, о которых пришлось думать впервые лет под семьдесят, и впервые же изобретать слова и обороты речи небывалые, чтобы выразить небывалые мысли. Иной бормочет долго, говорит по множеству слов сразу, и таких слов, что только кожа трещит за ушами у слушателя. А в конце концов и окажется вое то же – «строгости иет». Думаю, что похвалы мужика не разохотили бы меня на знакомство еще с новым «упорным» стариком и не возбудили бы желания «поскорее», покуда еще г. Коробков не умер, побежать к нему и выведать секрет исцеления общественных недугов, но сам г. Коробков был точно человек «упорный» в желании разговаривать, ибо в тот же самый день и тот же самый мужик опять принес мне записку такого содержания:

го «строгость» и чтобы в его благообразно-старческих речах не чувствовалось присутствие основной мысли о каком-то религиозно-нравственном кулаке или отечески-доброжела-

невозможно будет видеть раньше как об Святой. Следовательно, могу принять только на короткое время!» Тон этой записки был так любопытен и занимателен, ста-

рик до такой степени ясно давал мне знать, чтобы я спешил

«Окончательно уезжаю к своему делу нонешнего числа на ночной, четырехчасовой машине. В противном случае меня

к нему явиться, а «в противном случае» я уже сам должен пенять на себя, что я почувствовал невозможность не исполнить этого... приказания, поспешно оделся и пошел.

- Ведь уедет! братец ты мой! - говорил мне тревожным голосом мужик, с которым мы шли вместе.

И оба мы прибавляли шагу.

Под ворота, над которыми красовалась раззолоченная вывеска «центрального агентства», мимо ярко освещенных окон керосиновой конторы, прошли мы вместе с моим путеводителем в небольшие темные сени и оттуда поднялись наверх, в светелку, по темной и узенькой лестнице.

Здесь, перед столом, на котором лежали большие желтого цвета деревянные счеты, пачки разных бумаг и связка баранок, вместе с недопитым стаканом чаю, на плетеном «выборгского изделия» кресле сидел крепкий, широкоплечий старик. Одет он был в тонкого сукна русского покроя чуйку, ситцевую рубаху с косым воротом, плотно застегнутую на толстой, обросшей седыми, сильными волосами шее; седая подстриженная борода, седые густые усы, густая шапка в скобку подстриженных седых волос, все это, вместе с проницательным взором и большим выразительным лбом, производило впечатление чего-то действительно крепкого, коренастого, напоминало о старческой силе и прочности столетнего дуба.

Таково было первое впечатление, когда я только что вошел в светелку; старик сидел полуоборотом к двери и, освещенный двумя свечами, стоявшими на столе, ярко очерчивался в типических чертах лица и головы. Но когда он увидал меня и пожелал приветствовать, то в нем тотчас же сказались старческие годы. Приподнявшись на кресле и опираясь о его ручки обеими

руками, он с трудом мог разогнуть колени и сказал:

– Уж извините!.. Ноги-то начали баловаться... не держут! Все больше сидишь...

И тотчас сел опять в кресло. Приказав провожавшему ме-

ня мужику сказать внизу, то есть там, где жил его сын, центральный агент, чтобы нам дали чаю, он извинился еще раз в том, что ноги (обутые в мягкие сапоги) не дали ему воз-

можности быть вежливым так, как бы следовало. Подвигав-

шись и посуетившись на кресле и что-то пошуршав бумагами на столе, он, наконец, успокоился, сложил руки на груди и, устремив на меня свой пристальный, проницательный взгляд, не только нелюбезно, но даже с некоторою строго-

– Так как же, господин сочинитель, будет у нас с вами насчет, например, России-то?

стью в голосе сказал:

Я не понял этого вопроса и в недоумении спросил: – То

есть, что же собственно?

– Да ведь растащили нацию-то! – не строго, а уже грозно воскликнул он. – Как-никак, а кажется, что промотали зем-

лю-то, да и народ-то порасшвыряли, как гнилую солому... Ведь что же это такое? Возможно ли так-то? Как же это так, милостивый государь?..

Я не успел, как говорится, открыть рта, как старик вновь заговорил до того взволнованно, причем волнение как-то так

и тотчас же гневно ударяя по столу обеими руками, — ведь бог! бог ведь есть-с!.. Ведь... да что же это такое? Какому же богу идет это служение? Из-за чего? Что такое нужно? Деньги? Так разве так деньги-то добывают? Ведь все расточено, все брошено, все без внимания! Что же это? Гле ум недове-

неожиданно, мгновенно и сильно овладело им, что я не толь-

– Да позвольте! – вдруг воскликнул он, хватаясь за голову

ко изумился, а даже испугался немного.

ги? Так разве так деньги-то добывают? Ведь все расточено, все брошено, все без внимания! Что же это? Где ум человеческий? Господин писатель! И где ж предел, конец, надежда? Господин сочинитель, я спрашиваю вас, – где окончание этому расточению душ человеческих? За что, кому нужна эта гибель, – а ей ведь конца не видно! Что же в сердце-то есть, если ничего, кроме гибели, не изобретено?

Лицо старика и в особенности глаза налились кровью, пот выступил у него на огромном лбу; он трясся всем телом и как-то шипел, ломая пальцы рук, когда произносил такие слова, как «господин сочинитель, я вас спрашиваю!» или «душа! душа ведь это человеческая».

Я не знал, что ответить старику, но он, очевидно, и не нуждался в моих разговорах, а желал только иметь во мне слушателя, который хоть сколько-нибудь мог понимать его волнения и мысли.

– Двадцать пять годов народишко кой-как да кое-как проковылял после крепости... Но ведь, милостивый мой государь, ведь в нем еще старинная сила была! Ведь это еще бабушкины-дедушкины копеечки-то подсобляли! При крепо-

ку да спрячет ее в шерстяной чулок, чулок-то заткнет под перемет в сарае. Вот эти-то рублики да полтинники, издавние, старинные, сотни лет они накапливались потихонечку, из рода в род переходили тайком, шопотком, вот они-то еще держали народишко. Из этих чулок вынимали мужичишки деньжонки на избу, на коровенку, на одежонку. Вот где было еще кое-что на мужицкую подмогу – но ведь, сударь вы мой, ведь уж все это выцарапано, все вытащено, ведь телеги не встретишь исправной, ведь скотины нет такой, чтобы полюбоваться, ведь избы просторной не видишь! Ведь все рвется, все гнило, все голодно, все скучно, бесхлебно, все виновато! За что ж это? Куда, как, зачем, какой расчет, кому какой барыш, и предел, предел-то где? Каждый дворишко, где одна лошаденка ростом с зайца, и тот скучит, и тот разбредается! Ни тепла нет в нем, ни радости, ничего нет! Холодно, голодно, скучно – хоть топись! Господин писатель, ведь в этом случае Россия-то должна растаять, как комок снегу! Она тает, тает, как свеча! Но ведь все это создание божие! Для чего же, скажите мне, вы, автор и писатель, для чего же господь-то создал все это? Неужели же в премудрости своей он хотел расточить землю, обратить живых тварей в смертное уныние и тоску мертвенную? А ведь на деле-то так вышло: днем ли глядишь на народишко, ночью ли думаешь, - верьте истинному богу, – никогда не на чем сердцу отдохнуть! Ре-

сти мужик все-таки нет-нет да, бывало, и спрячет в подполье рублишко, да и баба как-никак утаит от бурмистра полтин-

жет его тупым ножом, режет и днем и ночью... и ничего не видать облегчения!

Подробности деревенского расстройства, в которые, по-

немногу успокаиваясь, вдался старик, я не буду передавать читателю; все они давным-давно известны: пьянство, распутство, бесхозяйственность, неуважение к старшим. Никаких особенно новых и ярких черт, рисующих теперешнее труд-

ное время народной жизни, старик не прибавил к тому, что уж всем известно, и я не без тоскливого замирания сердца ожидал, что вот-вот зайдет речь и о том «религиозно-нрав-

ственном кулаке», который, как я уже сказал, является почти всегда исцеляющим средством от всех современных недугов, если только об этих недугах рассуждают вообще старики. Но, к моему большому счастию, я ошибся.

— А отчего? — пристально глядя мне в глаза, проговорил

- старик, после того как картина расстройства и непорядков была довольно уж выяснена. И в то время, когда я ожидал обычного ответа «Строгости нет! Страху мало!» две крупных слезы затуманили эти пристальные, широко откры-
- крупных слезы затуманили эти пристальные, широко открытые глаза и скатились по затрепетавшим щекам.

 Сердца в людях нет, вот отчего! сказал старик глухим голосом, всхлипнув и торопливо утирая ладонью мокрое от

слез лицо. – Вот нонешнее поколение! (Говоря это, он энергически тыкал пальцем по направлению к полу, и я понял, что этот жест относится к центральному агенту.) Может ли он быть гневен или может ли быть он добр? Нету! Плюнь ему

же угрожающий жест по направлению к полу.) Ты думаешь - «мне б только самому было хорошо, а прочие пусть как знают; наплевать мне на них!» Ошибешься! Не будет у тебя уюта ни в доме, ни в совести, пока чужие люди для тебя не люди! Коли твое сердце на чужую жизнь не отзывчиво, так ничего в нем и не будет! своего, брат, не выдумаешь ничего! Ну, да пусть попробуют, поживут на свете без сердца-то! Нельзя жить, чтобы сердца не слушаться; оно есть то самое место, где настоящая правда. Недаром говорится пословица: «Что бог на сердце положит!» Оно как стрелка в часах указывает, что в человечьей душе; в нем то свет засветится, то тьма пойдет черней ночи осенней. Как его не слушать! А вот этого-то послушания и не видим в нонешнее время! Прежде (вот я хоть бы про себя скажу) какой-нибудь бурмистр, мужик, – один стоит над пятью-шестью деревнями, один за все отвечает, - ну и глядя по человеку и по сердцу и делает, как придется. Возьми-ка теперь, что попечителей, руководителей, указателей, внушителей! Все с жалованьем, все на тройках, все с кантом и с бантом, - а ведь народишко-то не живет, а гниет, как забытый гриб. А ведь, кажется, как бы не пожалеть? И тут жалко, и тут плохо, и тут обидно. Кажется, как бы в гнев не прийти, о правде не зашуметь? Ведь не ба-

в рожу, – у него рука не осмелится на оплеуху! Понадейся на него, – не выручит, будет спать покойно, хоть бы ты у него стонал всю ночь под окном. Не гневен и не любовен; со всеми ласков, но у него все подлецы. Ошибаетесь, любезные! (Тот

Нет, ангел мой, не получишь ты развлечения настоящего, – потому что сердце твое неправильное; направление-то в нем заячье! Оно говорит «жалей», а ты боишься, – оно говорит «не стерпи, возопи!», а ты опять боишься, ну, и, стало быть, неопрятно у тебя в сердце-то, а фортопьянами этого мусора не вычистишь! Вот как я думаю. Отвыкли сердца слушаться, думают, что квартальный лучше укажет, «как надо». И идет

рин над ними, как над нами бывало, а все ж таки закон. Как же не возопиять-то? Ан вот нет! Только бы с плеч долой! Пером почеркал, в конверт запечатал, – и все тут! А народишко гниет да гниет себе! Не видал я ни гневных, ни любовных людей из попечителей, учителей и указателей!.. Нет, не видал! Пошебаршит бумагой, и поскорей на машину да к себе домой, – «отдохну, мол, – жена на фортопьяне развлечет!»

Но, – сказал я, – ведь все эти руководители и наставители, как говорите вы, ведь все они только исполняют приказания?..

по земле не жизнь, а так, гнилье грибное...

Сверх ожидания, это замечание почему-то необыкновенно взволновало старика, и, не дослушав меня, почти он закричал:

— А ты не утерпи да закричи! Приказания! Приказания ис-

полни! Коли велят, все соблюди, под козырек сделай, и ножкой шаркни, и в бумаге нашебарши пером, что следует, да свое-то слово вверни, – ведь ты человек с совестью? Так вот этого-то и нет! Знаем мы, как следует исполнить приказания,

ять? Извивайся, коли так, перед высшими, ползай, да изловчись же сказать и свое! Как это не изловчиться? Ежели ты своему сердцу веришь, своего сердца не боишься, - так ты непременно изловчишься? Да что вы? Мало ли мне что прикажут! Да ежели у меня сердце замерло от приказа от этого,

так я изогнусь змеем, а уж не утаю своего! А то, скажите пожалуйста, – велят врать, а я и ври? А из-за чего ж я живу-то,

но ведь у человека и свое сердце есть; как же так не возопи-

из-за чего меня господь человеком сотворил?.. Нет, не так! Мало ли какие бывают злые гонения, а в ком есть сердце, изловчались; так ли, сяк ли, - а ухитрялись и правду говаривать! Да позвольте, я вам вот сейчас, для примера, документик один предоставлю, так вы и увидите, что значит и приказ

как совесть и сердце указует! Проворно роясь в бумагах, лежавших на столе, старик не

исполнять и начальство не обижать, – а дело-то делать так,

переставал говорить вполголоса: - Какая мода! Боятся совести своей поверить!.. Жалова-

нья получают немаленькие... и на тройках все... а умеют только бояться!.. Нечего сказать, очень новая мода!.. Обра-

зование великолепное, – а хвостик заячий!.. Нет! по-нашему не так бывало! И мы боялись, пуще вашего трепетали, только сердце-то свое в помойное ведро из-за господских милостей не швыряли! Вот она! Вот эта самая! – воскликнул старик,

вытаскивая из груды бумаг какую-то толстую тетрадь. - Она самая и есть!

– Это, изволите видеть, – сказал он, похлопывая ладонью по тетради, – мое оправдание перед барыней, графиней Гусыниной, Варварой Андреевной... Надобно вам доложить, что я сызмальства беспрестанно находился при господах, и

то по прихоти своей они меня возвеличивали, так что оказывали полное доверие, то по прихоти своей и ниспровергали до скотного двора, то опять призывали. Был я и награждаем, и по скулам бит, и за бороду таскан, и дран на конюшне, был и лобызаем и хвалим. Все было, все я видел и все претерпел! Подумать только, милостивый государь, чего только я не навидался, не натерпелся! Ведь власть барина, помещика, - это ведь не чиновничья власть, это ведь не губернаторская, а барская! Что хочу, то и сделаю! Может, у иного желудок расстроен, колотье в этом месте от нехорошего обеда, – и ежели он от этого расстройства меня повредит, сорвет на мне зло, – я молчи! Ни закона, ни защиты нет! Так извольте вы подумать, как было жить в ту пору человеку с совестью, чтобы потрафить каждой господской прихоти и чтобы бога в своей душе не обидеть? Ведь если бы я по-нонешнему-то жил, то и мне бы только господам потакать, что прикажут, то и делать по их указанию; ведь нонешние руководители только и знают, что исполняют точка в точку, что приказано, а там, между-то людей, хоть трава не расти!.. Но во мне была

совесть, сердце было чувствительное, а в сердце правда жила, – и не дал я ей помереть, не променял ее на неправду, на свой покой!

— Я этих самых оправданий, – опять проводя рукою по тет-

ради, говорил старик, – на своем веку немало настрочил... И могу сказать, очень искусно навострился правду в глаза говорить. Что я такое? Раб! Вот меня житьишко-то и научило, как тут изворачиваться... Рабствовать-то рабствуй, а правду помни!.. Взять хоть бы вот эту самую барыню-покойницу, графиню Варвару Андреевну... Был я при их особе бурми-

стром более двадцати годов; было на моих руках пять больших деревень на Волге, всякая малость на моем ответе, все взыскивалось с меня. А ведь покойники господа-то у-ух какие были мастера взыскивать-то!.. Живет эта самая степенная графиня Варвара Андреевна почти без выезда в Петербурге. Дама высокого ранга; на пальце у нее бесперечь пузырек со спиртом висит, на золотой цепочке, - потому она в нервах не крепка. Окроме того вдова, - это надо расчесть тоже!.. Деревень своих она не знает, ничего, с позволения сказать, не понимает, а приказы да взыскания с нее так и летят, как перья из дырявой подушки. Приедет из своих деревень какой-нибудь кузен, родня, Пьер там или Жорж, - «помилуй, говорит, Барб (это у них завсегда такая поговорка, - все навыворот), помилуй! Мне говорили про твоего управляющего - он грабит мужиков!.. У меня с души выходило пятнадцать

рублей, а твои платят двадцать! Это грабеж!.. Неужели неко-

манером, а та уж и нюхает из пузырька и чепцом трясет и уж приказ пишет... А кузен-то этот советует ей поручить уличить меня в грабеже хорошему человеку, да и хорошего человека сейчас порекомендует: «Вот тебе, мол, хороший человек, – аптекарь у меня знакомый в Балахне, Богдан Богданыч. Честный немец. Заплати ему тысячи полторы в год, он все там разузнает, приведет в порядок!» А та и рада! Сейчас доверенность Богдан Богданычу, а Богдан Богданыч тотчас же мне начинает строчить свои приказания: уж мошенником-то этот Богданыч меня первым делом окрестит да еще напридачу велит, чтоб ему белых грибов два пуда представил я к такому-то сроку, а не представишь – барыне пожалуется, а та опять расстроится, напишет мне бранный при-

каз... Это вот Пьер приехал и натворил мне хлопот. А то приезжает Поль и уж на другой лад поет: «Помилуй, Барб, у тебя золотари наживают по тысяче рублей в год, а ты получаешь с них оброку только пятнадцать рублей! Это наверно управляющий грабит! Нельзя так! Ты добра, ты ничего

му посмотреть за этим мошенником?» Расстроит ее этаким

не видишь!.. У меня есть в Москве хороший человек, статский советник Белобрысцев, – дай ему доверенность и обяжи бурмистра еженедельно представлять отчеты, и тогда уж будь уверена, что Белобрысцев каждую полушку разыщет... Дай ему тысячи две в год жалованья!» – «Ах! в самом деле!»

И глядишь, еще управляющий нашелся! Один пишет мне, что я много беру с крестьян, а другой пишет, что мало, и все

учить грамоте, не изнурять работой, кормить бедных нищих, подавать пособия, раздавать всякие вспомоществования... и боже мой, чего-чего нет!.. Это, должно быть, с монахом либо с монахиней поговорила, — а не успеешь опомниться, новый приказ: «Почему в мастеровые не отдаешь? Почему Федька не в столярах?» Это уж, надо быть, Белобрысцев внушил. Да чего! «Предписываю немедленно выслать мне ту самую горчицу, которая была третьего года... очень вкусная и возьми

у того самого купца», – вот какие бывали приказы! Горчицу вспомнила вкусную и сейчас приказ, – а у меня уж есть приказ учить, помогать, в сапожники отдавать, не грабить и грабить, и Богданычу грибов надо, и Белобрысцев просил два пуда толокна... Вот и извольте тут управиться, потрафить

объявляют меня мошенником... А там, глядишь, поговорила с кем-нибудь – пишет учить всех мальчишек, непременно

на каждого, потому у каждого полная доверенность, каждый может и сам драть и барыне жаловаться, а барыне все можно. Да ведь на всех этих указателей денег надо накопить, ведь я же должен эти деньги-то на своих начальников из народа взять. Так ежели бы я по-нонешнему действовал, так ведь у меня народ давно бы весь был размотан, растаскан по кло-

жечко урезонить, в человеческий ум привесть!

– И урезонивал-с!.. только с хитростию надобно все это оборудывать!.. Ну, каким родом я, например, этой барыне,

чьям... Но я не таков был! Нет! Хотя бы вы и господин и начальник, – а над вами есть бог! Надо и вас иной раз немно-

рил беды!» Вот ведь как вышло бы, если бы я правду-то по правде говорил, а я уже травленый волк, знал, как надо делать, и делал!

— Беру я перо писать ответ и думаю: барыня нервного сложения, и раздражать ее нельзя, а кроме того, что она нервна, надобно еще знать, что она и барыня. И, таким образом, выходит, что для начала оправдания надобно мне притворить-

графине, скажу прямо правду? Можно ли мне ей сказать, что, мол, все ты врешь, и Богданычи твои врут и ничего не понимают? Ведь сказать так, значит пропасть! «Это грубиян, бунтовщик, дерзкая тварь; если он так смеет говорить, так ведь его хватит и зарезать. В Сибирь его, пока еще не натво-

ся рабом, тварью бездыханною, нижайшею сволочью распростертою, чтобы ввести ее в мягкий дух, разлакомить ее раболепием и распростертым своим видом. Вот я и пишу... (старик взял рукопись и, надев круглые медные очки, стал читать):

«Ваше сиятельство,

графиня Варвара Андреевна!

Приказ вашего сиятельства с супругою Богдана Богдановича я получил сего марта месяца 2-го числа, на который по случаю моей жестокой болезни долго вашему сиятельству не

отвечал; теперь же хотя еще я очень слаб, но могу выходить на воздух и хотя питаться слегка пищей, то тотчас же, по собрании сколько есть моих сил и рассудка, поспешаю обо

всем подробно вашему сиятельству довести. Я всенижайший раб вашего сиятельства и состою по вла-

же, можно сказать, убили негодованием на непредставление отчета о том, сколько собрано с крестьян денег на мирской расход. О том же, в грозном виде, требует ответа его превосходительство г. Белобрысцев, а равным образом и Богдан Богданович из Балахны. Не в силах постигнуть корень той злобы, которая могла пустить столь ядовитые ветви, я притеснен с трех сторон: из Петербурга, Москвы и Балахны,

сти вашей. Вы со мною делаете, как вам заблагорассудится, но только то смею доложить вашему сиятельству, что неизвестно, по каким причинам вы меня жестоко наказали, да-

вал несносный для себя удар и остолбенел, и таково для меня было по слабости моего здоровья легко, что сделался со мною припадок, и после, когда встал, хотя и с полумертвым моим телом, нашелся вынужденным принести жалобу мою перед создателем и сказать: «Господи! Тебе единому открыты сердца человеков, – не видят бо, что творят!»

Что я теперь пишу к вашему сиятельству, к моему оправ-

настигнутый врасплох и не готовый к обороне, почувство-

признаться в. с-ву в том, что я нелицемерно, как совестию, так и душою и сердцем, расположен и пребуду навсегда итти к той цели, дабы какими-либо случаями не учинить продерзости и довести в. с-во до беспокойствия; да и есть еще тайна, запечатленная в сердце моем, которую бы должен хранить и

данию, это есть самая сущая правда, безо всякой лжи. Могу

Я знаю, что ты служил батюшке хорошо, надеюсь на твою службу и мне, но буде меня не будет, то служи моей графине Варваре Андреевне и исполняй должность свою в порядке». Я выслушал эти слова, упавши ниц к ногам его, и если мне забыть слова его с-ва графа Дмитрия Ивановича, то должен быть я заблудшим скотом».

Старик остановился и сказал:

взять с собой в путь, когда отправлюсь в жилище праотец, но по теперешним моим обстоятельствам принужден распечатать камень сердца моего и вынуть слова, сказанные мне покойным графом Дмитрием Ивановичем, при разделе по кончине родителя их: доставшись я по разделу его с-ву графу Дмитрию Ивановичу, то призвавши меня сказал: «Сидор!

– Так вот пораболепствовал я этаким манером, поразлакомил ее своим низкопоклонением, сделал ей удовольствие, лег вроде пса покорного у ее ног, и думаю: «ну, сударыня, теперича послушай и настоящей правды, отведай серых мужицких щей»:

«А что касается, буде в. с-ву от крестьян ваших или откуда стороною дошли слухи, что с крестьян ваших происходят сборы излишних денег, много более противу прочих селений, то донесено в. с-ву вполне справедливо и никакой в этом клеветы нет. Если угодно в. с-ву, чтобы не превышали сборы у ваших крестьян противу прочих селений, то для это-

сборы у ваших крестьян противу прочих селений, то для этого нужно только в. с-ву оказать крестьянам такие милости: не извольте получать с них вместо сборного хлеба деньги, из ва-

будет много легче. Почему два года назад с души собрано по 17 руб., а в нонешний год по 22 руб.? Потому первое, – что постоянно двое рекрут; да в. с-ву за хлеб деньгами дадено, да для дома в. с-ву разъездной ямщик нанят за 600 руб., да на дрова для дому, да на починки, да на мелкие расходы по дому же. Извольте из 22 рублей вычесть таких расходов по желанию в. с-ва более семи рублей на душу, и тогда не будет

шего господского дома повелите выслать людей или пускай живут где хотят и что хотят едят. Повелите дом оставить без надзора и сторожей и дворников уволить, и тогда крестьянам

и четырнадцати, а следовательно, менее прочих. Я и сам доложу в. с-ву сущую справедливость, что нонешний или прошедший год, глядя на крестьян, сердце выболело, не токмо затевать какие прихоти. Хмеля не родилось, работ никаких для крестьян нет, хлеб, благодаря бога, хотя и родился, но и тот вытаскали весь, и с трудом, что только можешь собрать денег, отсылаешь в. с-ву или уплачиваешь казенные повинности, в приказ. В течение года не бывает залежного гроша, людям месяца по два харчевых не выдается».

— На-ка вот! — заговорил старик не без злорадства, прерывая чтение. — Понюхай-ка вот этого деревенского-то спир-

дай-ка!.. Разбери-ка, кто тут с кого лишнее-то берет, кто тут в грабителях-то оказывается! А поди-ка не прочитай, что написано, это уж и против совести: любила читать, как я низкопоклонствовал, так и это люби! Дашь вот эдакого спир-

ту, из пузырька на мочалке, а не на золотой цепочке! Отве-

ту крепкого, под самый нос подскочишь, – да и опять кубарем-кубарем под диван; опять псом прикинешься, чтобы загвоздка-то не больно рассердила.

«Нет, ваше сиятельство, – зачитал старик иным, не зло-

радным, а рабским тоном, – много есть резонов к оправданию моей невинности, но всего на бумаге не изъяснишь, а полагаюсь на, моего создателя, он защитник мой! А вашему сиятельству как заблагорассудится. Я знаю только одно, что

вы моя госпожа, а я низкая в доме тварь. А что мне непростительно и сам я признаю, – так это нехватило моей догад-

ки насчет горчицы и подновских огурцов, а равным образом и любимых вашим сиятельством круп. С открытою совестью скажу, что все сие уже я приуготовил, но получая насчет оного как из Балахны от Богдана Богдановича, так и из Москвы от его превосходительства г. Белобрысцева строжайшие

приказания и нарекания за бездеятельность и угрозы о строжайшем по вашей доверенности с меня взыскании, а равно и

от вашего сиятельства саморучные строгие выговоры и даже от жены Богдана Богдановича, Амальи Карловны, – то совершенно отуманился в уме и утерял правильное мнение о том, куда деваться с огурцами, крупою и горчицей, ибо отовсюду получил натиск, угрозу и строжайшее требование. Своевольно подумывал я отправить оные огурцы и прочие продукты с нарочным прямо в столицу, к подножию вашего си-

ятельства, но не дерзнул на сей расход и паче того воздержался от расхода на разгон по трем разным местам, откуда

шли строжайшие требования, ибо и один разгонный ямщик стоит уж 600 р. серебром, за что справедливо укоряете раба вашего в отягощении крестьян!»

- Хороши ли огурцы-то подновские? - самодовольно

взглянув на меня через очки, произнес старик. – И горчица, и все есть! Все ей послал на бумаге с низкопоклонением, а не укусишь, потому что я сейчас же опять превращаюсь в тварь бездыханную.

Старик торопливо перевернул страницу и зачитал:

«Нет, сиятельная графиня! с тех самых пор, как угодно было вашему сиятельству потребовать меня для услужения, я, как заблудший сын в объятия отца своего, бегу с трепетом и приношу жертвы моления моего, возвышаю голос и говорю: «Благодарю тя, господи! госпожа моя, которую, господи, ты мне определил, призывает и простирает ко мне свое

милосердие, требует моей услуги!» И счастлив я, и торже-

ствую! То как бы я мог взять в свой рассудок иметь жадность к сребролюбию? А думаю я, что ко вреду моему кто-нибудь внушил вашему с-ву, как я имею семейство и содержу тещу с двумя детьми, то не взял ли я смелость дерзнуть без позволения вашего с-ва выдавать ей харчевые? На что доложу вашему с-ву, что во мне нет той дерзости, чтобы я мог как-либо поступить без позволения вашего сиятельства. Действи-

тельно, что теще моей, без поддержания моего, пропитаться было нечем, кроме имени Христова, потому что муж ее стар, промысел его плох; но мой расчет был тот, что теща

не годятся, - так ведь их продать можно; нониче рекрут стоит 2000 руб., - вот вам и деньги, и все ваши расходы на сирот несчастных покроют. Ну только, богом данная нам всем госпожа, хотя 2000 р. за человека и хорошие деньги и очень могут в столице пригодиться, только ведь сначала надобно человека-то вырастить, выкормить его, дождаться возрасту, а потом уже и деньги за него класть в кошелек. И еще скажу: одна девчонка-повеса нарыскала в Москве мальчонку, родила в деревне, а сама завертелась у вас в Петербурге, - оставила на мою шею, и где бы не надо коровы, принужден купить и воспитывать ребенка. Ведь ребенок не щенок, и к тому же безвинная тварь, вырастет - слуга будет, - вот я и положил в мыслях: по вашему строжайшему приказанию, чтобы благодетельствовать бедных и сирых, дабы мягкосердие вашего с-ва благословляли и доброту прославляли, – буду я питать, кормить и поить сирот, вашего с-ва крепостных, дабы они всечасно возносили к всевышнему моления о долголетии вашего с-ва и наследника графского дома, сына вашего, Сергея Дмитриевича. А между тем сколь мне горько и до измождения души прискорбно, что стал я в плутовстве подозреваем. Это все одно и то же, что, не судя и не сделав должного определения, взвести человека с завязанными глазами на эшафот! К сему-то случаю могу напомнить вашему сиятель-

ли, нет ли, а мне в хозяйстве женщина нужна. От детей же ее никакого мне нет расчета; ведь они, высокосиятельная госпожа, ваши, а не мои, и буде в услугу к сиятельству вашему

случаю небольшой моей ошибки, которое теперь имею смелость возвратить вашему с-ву; именно: изволили писать, что «не всякому слуху должно верить, а должно сначала в точности узнать, а потом и судить». Почему я и усматриваю, что ваше сиятельство каким-нибудь случаем изволили оное пра-

ству писанное ко мне некогда вашим с-вом нравоучение по

и лежит без последствий...»

– Ну, тут я действительно мало-мальски перепустил через край, – только сейчас же и спохватился:

вило затерять или заложить в бюро вашего рассудка, где оно

«Да и худо быть слуге без господина своего и кольми паче обязанного должностию. На всех человек не угодит; будь он трезв, – обнесут его пьянством; будь он честен, – сделают его плутом; а когда находишься перед лицом господина своего, то уж сам господин видит худое и доброе поведение. И вот по какому случаю душа моя желает напиться прохлад-

ного нектара, то есть с нетерпением желаю, чтобы бог благословил вашему с-ву возвратиться в вожделенном здравии к нам, в тихое родовое пристанище, где царствует деревенская тишина и спокойствие, не превращается против натуры ночь в день, а день в ночь, не оглушает стук карет, не ослепляет глаз блеск воинских оружий, не надо затыкать сиятель-

ные уши хлопчатою бумагой от грома пушечных ударов; нет надутых гордостию вельмож, не досаждают криком уличные разносчики миногами и устерсами, а существует только одна сельская простота, облеченная в порфиру природной своей

красоты! И к тому же осмеливаюсь доложить вашему с-ву, по нонешнему времени для прожития в Петербурге доходов ваших будет мало, и ежели его п-во г. Белобрысцев не внесет 19-го октября в опекунский совет, то вашему с-ву надоб-

но будет принять свои меры. Да и прибытие вашего с-ва в

деревню много сделает выгод и для крестьян – именно ваш домашний расход гораздо уменьшится... А моя выгода – подобна будет манне небесной, ибо тогда я уже и лично могу

оправдаться...»

— Так вот этаким-то манером брил я эту сиятельную госпожу по всем пунктам. Да всего не перечтешь. А под конец

как отбреешь на каждом слове да сделаешь ей же хорошее нравоучение и указание, – ну, думается, и пошутить можно,

чтобы у нее-то на сердце легко стало под конец моей науки. Вот хоть бы так...

Старик опять взялся за тетрадь и стал читать, улыбаясь: «А что касается моей болезни, то доношу в. с-ву, как

прошедшего февраля месяца, поутру часов в пять, когда по обыкновению я всегда встаю, пришлось мне чхнуть, и чох учинился несчастный, и до того крепко я чхнул, что почувствовал в правом боку над подгрудными ребрами как будто

что у меня оборвалось или хрустнуло, и так жестоко, что я без памяти лежал полчаса, и после того оказалось на боку, от этого вредного чоху, большое пятно синего цвета величиною в табакерку, и сохрани бог, ежели придется кашлянуть или чхнуть, то тут уж наверно будешь без памяти...»

- Ну, вот эдаким манером... Набормочешь ей разного мусору, ну она и не сердится... Так вот, господин, как мы, старики, жили!

Старик откинулся на спинку кресла и, вздохнув, сказал

уже значительно утомленным голосом: - Отчего же в нонешнее-то время нехватает храбрости

этаким же родом дорожить правдой? Ведь нас, как телят, продавали, с нами всякий владетель что хотел, то и делал,

вся жизнь была в чужом капризе, а почему же мы осмеливались совесть свою беречь? Ведь вот я – чего-чего я своей графине не сказал, ведь сколько я ей щелчков-то препрово-

я хоть и виляю и извиваюсь змеем, - потому всякому человеку шкура его дорога, - а уж ни в чем ей не потакаю! Извини! Я и рабским и холопским манером, а сделал же, чтобы ей совестно стало, чтобы ей стыдно стало своей господской

дил, - а почему? Потому что мне сердце велит это сделать, и

неправды! А нониче и рабства нет, и горя больше, и зла больше, и слез больше, – а правды-то все боятся! Испугались, спрятались, хвосты поджали, - «только бы день пережить, и слава богу!..» Вот и расползается и рвется клочьями, словно гнилой ситец, житьишко крестьянское.

С рукописью в кармане (старик охотно дал ее перечитать) поздно ночью спускался я по темной лестнице, оступаясь на круглых и узеньких ступенях и ища выхода. Шум моих шагов вероятно был услышан обитателями «центрального агентства», потому что в то время, когда я ощупывал клеенчатую дверь этого агентства, не зная куда идти, дверь эта отворилась, и передо мной предстал молодой Коробков с лампой в руках и с своей обычной, тонкой и любезной улыбкой на устах.

- Посетили старичка? спросил он, кланяясь и освещая мне дорогу.
- Да, сказал я, мы побеседовали кой о чем с вашим родителем.
 - Набрюзжал он вам, должно быть?
- Напротив! Я услыхал от него много любопытного... А главное сердце-то какое славное!
- Ну, да ведь что ж теперь с сердцем-то? И без сердца трудно-с!

Примечания

Впервые опубликовано в «Книжках «Недели», 1885, X, под заглавием «Заячье «направление». Из разговоров со старым бурмистром». Печатается по изданию: Сочинения Глеба Успенского. Том третий. СПБ., 1891.